

АЛЕКСЕЙ РУТКЕВИЧ*

НАСЛЕДИЕ ИСТОРИЗМА**

Получено: 15.06.2020. Рецензировано: 18.07.2020. Принято: 13.09.2020.

Аннотация: Термин «историзм» употребляется сегодня в двух главных значениях: характеристика исторического сознания («принцип историзма») и обозначение интеллектуального течения в европейской мысли XIX–XX вв., представленного трудами как занятых историей мысли философов, так и ведущих историков эпохи. Главным его источником был немецкий романтизм, оказавший воздействие и на историю мысли, и на «исторические школы» права и национальной экономики. Определяющими чертами историзма были утверждение инаковости прошлого, идеализм (философия духа) и противопоставление особого метода исторического знания методу объяснения в науках о природе. Такая оппозиция оказалась несостоятельной и отвергнутой развитием исторической науки. Во второй половине XX в. эта наука существенно расширила поле исследований и стала ориентироваться на методы социальных наук. Идея тотальной истории предполагала синтез методов всех наук о человеке. Однако сами эти науки такого единства не образуют, а импорт методов не приводит историю к статусу метагеории. Поле исторических исследований по-прежнему конституируется той разновидностью критического реализма, который считается преодоленным социологией или экономикой. История имеет дело с независимым от всех теоретических конструкций иным, а потому остается описательной наукой, которая определяется особенностями исторического мышления — таково наследие историзма.

Ключевые слова: историзм, романтизм, метод, социальные науки, тотальная история, реализм, скептицизм.

DOI: 10.17323/2587-8719-2020-3-36-70.

В «Былом и думах» приводятся слова московского естествоиспытателя (упомянутого в «Горе от ума» — «Он химик, он ботаник»), познакомившегося с первыми философскими сочинениями своего кузена Герцена и заявившего, что они писаны «птичьим языком». Примерно так воспринимали и воспринимают занятые эмпирическими исследованиями ученые не только гегельянские диалектические премудрости.

*Руткевич Алексей Михайлович, д. филос. н., профессор, факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Москва), arutkevich@hse.ru, ORCID: 0000-0003-2845-7830.

**© Руткевич, А. М. © Философия. Журнал Высшей школы экономики.

Благодарности: статья подготовлена в ходе проведения исследования/работы в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5-100».

У них для этого есть основания, причем не только при чтении трактатов, малопонятных и большинству философов. Желаясь приблизиться к научному цеху авторы книг, статей и диссертаций по философии науки чаще всего никогда в своей жизни не занимались эмпирическими исследованиями, но смело пишут нечто о «методологии социальных и гуманитарных наук». М. Вебер заметил, что для ученых «методология всегда является лишь осознанием *средств, оправдавших* себя на практике», а для плодотворной работы они являются предпосылкой не в большей степени, чем знание анатомии — условием нормальной ходьбы.

Более того, так же, как человеку, пытающемуся контролировать свою походку на основе анатомических знаний, грозит опасность споткнуться, подобная угроза встает и перед специалистом, пытающимся определить цель своего исследования, руководствуясь методологическими соображениями (Вебер, Давыдов, 1990: 418).

Науки возникали и развивались независимо от того, что писали и пишут гносеологи и методологи. Занятые решением своих проблем ученые с подозрением относятся к тем сочинениям, в которых утверждается нечто о какой-нибудь «постнеклассической науке» или «социальной эпистемологии» — какое все это отношение имеет к проблемам астрофизика, биохимика или генетика?

Еще в большей степени, чем к физике или биологии, это относится к истории. Ни выведение эмпирической истории из какой-нибудь предсуществующей идеи, ни онтологическое укоренение ее в «предпонимании» и «историчности» не затрагивают «ремесла историка». Нам памятна та социологизация истории, которая принуждала во всем следовать учению о смене формаций («пятичленка») и классовой борьбе как движущей силе истории. Можно вспомнить ироничные суждения Л. П. Карсавина, замечавшего, что «чистые» теоретики вообще отличаются категоричностью и полагают, что история вовсе не должна считаться наукою, если не определила и не усовершенствовала свой метод. Теоретик выдумывает такую новую науку, не заботясь о том, что в нее не желает входить реально существующая историография.

Однако выдуманная им новая наука так и останется теоретическим пожеланием, присоединяясь к другому мертворожденному младенцу — социологии, которая, недолгое время позабавив своих ученых родителей, превратилась в игрушку для дилетантов и любителей, без достаточной подготовки, поговорить о «методах». Историки же теоретика и слушать не станут, а будут продолжать свое дело (Карсавин, 1993: 116).

Примером, свидетельствующим о глухоте сообщества историков к модным философским доктринам, может послужить то, что на деятельность этого цеха не оказала ни малейшего влияния длившаяся три десятилетия активность сторонников «лингвистического поворота», любителей писать слова «текст» и «тело» с заглавной буквы. Моды уходят, а всякий занятый прошлым ученый повторяет давно сказанное: «И это тоже пройдет». Философские доктрины тоже принадлежат истории.

Правда, ходу времени принадлежат и труды историков, причем взгляд в прошлое обнаруживает связь этих сочинений с популярными в каждую эпоху философскими (или богословскими) учениями¹. То, что иные учения были близки здравому смыслу историков — взять хотя бы позитивизм второй половины XIX в. — не отменяет их воздействия на характер не только обобщений, но и самих исследований. Задумавшись, иные историки обнаруживали, что вынуждены обращаться к философским категориям (а заодно осознавали и свое сходство с героем Мольера, узнавшим, что он «говорит прозой»). Научной историография сделалась именно в то время, когда под наукой подразумевалось установление фактов и причинных связей между ними. Самая «бедная» по своему содержанию метафизика, восходящая к номинализму 600-летней давности, оставалась метафизикой: она давала отрицательный ответ на вопросы об умозрении и о выведении должного из сущего, но сами вопросы сохранялись в неприкосновенности. Пересмотр практики, предмета и метода исторических исследований был связан с выходом за пределы этой метафизической нищеты.

HISTORISMUS

Хорошо известен исток множества «рассуждений о методе», уже почти 400-летнем поиске скорейшего и вернейшего достижения научной истины — это труды Бэкона и Декарта, с которых начинается философия Нового времени. Схоластика остается в прошлом, а вместе с нею — и аристотелизм. Из науки и опирающейся на науку философии изгоняется телеология: «В самой природе все совершается механически, и она не преследует никаких целей; что же касается намерений Творца при создании мира, то было бы смешной самонадеянностью желать в них

¹Да и политическими доктринами, причем не только в тех случаях, когда речь идет о сравнительно недавней истории, вроде нашей Гражданской войны. Как заметил Э. Карр, история античной Греции Гроута говорит нам сегодня ничуть не меньше о воззрениях английских радикалов середины XIX в., а история Рима Моммзена — о политических взглядах немецких либералов, нежели о самой античности. См.: Carr, 1964: 36–37.

проникнуть» (Лопатин, 2000: 26). У такого переворота было множество составляющих, в том числе и недоверие к тем умозрениям, которые недостоверны, плодят пустые споры, из которых затем рождаются и конфликты, перерастающие из богословских прений в мятежи и войны. Можно сравнить первые страницы труда Гоббса «О гражданине» с опережающими их на полтора века записями Леонардо да Винчи: оба предлагают путь соединения опытных наук с математикой, тогда как вымыслы и сумбур являются долей «софистических наук — наук, которые учат лишь вечному крику» (да Винчи, Губер и Зубов, 1998: 128). Образцовой наукой на протяжении трех столетий была механика, а в последние десятилетия XIX в. — применительно к возникающим социальным наукам — к ней присоединяются эволюционная биология (в версии как Дарвина, так и Спенсера) и политическая экономия. Если воспользоваться выражением М. Фуко, такова «дискурсивная формация» в то время, когда история превращается в науку. Это легко увидеть и в случае либеральной *Whig history*, и в случае исторического материализма II Интернационала.

Научной история сделалась независимо от философских дебатов: этому поспособствовало развитие ряда вспомогательных дисциплин, которые сегодня объединяются «под шапкой» источниковедения. Внешняя и внутренняя критика источников начиналась с дипломатики (бенедиктинцами во второй половине XVII в.), но затем распространилась на более широкий круг документов, дабы различать, как писал Ле Нэн де Тильмон, «что могло быть написано в какое-то время, а что от него весьма далеко» (Bourdé, Martin, 1983: 91), поскольку более поздние наслоения и трактовки скрывают истину. Процедуры этих монахов и последующих историков-эрудитов были систематизированы в XIX в., например, во французской «методической школе», вершиной усилий которой стало знаменитое «Введение в исторические исследования» Ш.-В. Ланглуа и Ш. Сеньобоса (Ланглуа и Сеньобос, Серебрякова, 2004). Четко определив процедуры отбора источников, их критики, дальнейшей реконструкции, историки считали их [эти процедуры] установленными фактами, индуктивно накопленными и объединяемыми в единый процесс подобно тому, как это обстоит в естественных науках.

Начальный пункт рассуждений тех мыслителей, которых мы относим к основоположникам историзма, всякий раз обнаруживается в обособлении естественнонаучного и исторического знания, которое не вмещается в схемы объяснения, подводящего конкретную реальность под тот или иной закон. Процедура объяснения опытно фиксируемого единичного

события происходит через включение его в формулу уже известного закона; мы понимаем конкретное через редукцию его индивидуальных свойств, поскольку интересуется нас это конкретное лишь как частная форма проявления данного закона. Эта процедура дает нам возможность предвидения будущего, прогноза тех следствий, которые вновь будут проистекать из тех же самых причин. Наука в этом смысле практична: *savoir pour prévoir, prévoir pour pouvoir* — эта формула О. Конта превосходно выражает общий дух науки XIX столетия. Такая редукция конкретного всегда лишь отчасти передает его особенности, поскольку вырывает его из контекста, не отражает его собственного содержания, а нередко и подменяет это конкретное той схемой, которая предназначена для технического использования, манипуляции, «овладения» природными процессами ради внешних для них целей.

Термин «историзм» получает широкое распространение в XIX в. для обозначения двух связанных друг с другом явлений: возникшего учения (школы) в историографии и того, что можно назвать историческим сознанием профессиональных историков. Как писал Дж. Тош,

только в первой половине XIX в. все элементы исторического сознания были собраны воедино и воплощены в научной практике, которая стала общепринятым «правильным» методом изучения прошлого. Это было заслугой интеллектуального течения под названием *историзм* (от немецкого *Historismus*), возникшего в Германии и вскоре распространившегося по всему западному миру (Тош, Коробочкин, 2000: 16).

Автор другого популярного в англоязычном мире введения в историческую науку Э. Карр прямо называет способствовавшее переходу от наивного позитивизма с его «фетишизмом фактов» к современной историографии учение «философией истории» (Carр, 1964: 20–21). Это в целом верно, хотя наряду с философами (В. Дильтеем, В. Виндельбаном, Б. Кроче, Х. Ортегой-и-Гассетом, Р. Дж. Коллингвудом) в этом переходе участвовали видные историки (Л. фон Ранке, Й. Дройзен, Э. Трёлльч, Ф. Мейнеке и др.). Можно сказать, что осмысление отличия историографии от естествознания одновременно начали Дильтей и Дройзен, хотя у них было немало предшественников, первыми из которых можно считать с Дж. Вико и И. Г. Гердера. Однако непосредственными источниками историзма являются немецкий романтизм и философия истории Гегеля. Их идеи вошли в то единство философских категорий и исторических построений, которое немцы назвали *Historik*, а англичане перевели как *metahistory*.

Уже ряд мыслителей эпохи Просвещения видели в истории процесс, устремленный к росту разума и свободы: в философии истории Канта и Фихте эти идеи получили «классический» вид, а вершиной этого умозрительного рассмотрения истории была философия Гегеля. Романтизм нередко считают движением «Контрпросвещения» (И. Берлин), и для этого имеются некоторые основания. Не вдаваясь в детали, можно отметить, что главное различие между гегелевской философией истории и романтизмом лежит в разном понимании отношения возможного и действительного. Для Гегеля все прежние возможности осуществились в действительном, предшествующие ступени «сняты» в осуществившемся и к ним нет возврата — «Феноменология духа» есть воспоминание о пройденных этапах развития. Для романтиков творческий хаос возможностей сохраняется, прошлое продолжает жить и способно неожиданно воскреснуть. Они ищут поправки к настоящему, которое не принимается на веру.

Нужно установить, все ли лучшие силы былого развития в него вошли, а если не вошли, то как их туда вернуть. Позднейшее не всегда есть полная победа над силами минувшего, иное в минувшем тоже стоит почета и охраны (Берковский, 2001: 28).

Ироничный взгляд на прогресс у романтиков связан и с тем, что чаще всего о движении «все выше и выше» говорили «ставшие всем» дельцы, а вершиной непрестанной болтовни о продвижении к «свету» сделались парламентские речи и газетные статьи. С иронией смотрели романтики и на пантеистическую тотальность истории, пронизанную разумом и движущуюся к установленной этим разумом цели. Если Бог и присутствует в истории, то он не делился сведениями о способе присутствия с впадшими в гордыню немецкими профессорами — эта ирония ощутима и в позднейших «сведениях счетов» с гегелевской философией истории у С. Кьеркегора².

Дело не в ностальгии романтиков по Средневековью, хотя они способствовали началу серьезного пересмотра просветительского пренебрежительного взгляда на «темные века». Каждая эпоха и всякое

² Сделавшийся имманентным принципом человеческой истории Бог в такой картине занимает место «солидного чиновника, восседающего на небесах, но ничего не способного предпринять, — так что никто не обращает на него никакого внимания, — раз уж предполагается, что он способен воздействовать на индивида только сквозь плотную толщу опосредующих причин» (Кьеркегор, Исаева и Исаев, 2005: 582). Иначе говоря, отвергается тот Гегель, которого так любят делать своим предшественником многочисленные марксисты.

племя, сословие, деревня, гильдия уникальны, как и наше собственное общество. Г. Зиммель и Э. Трёльч употребляли удачный термин для видения романтиками прошлого в его особенности — «индивидуальная тотальность». Каждая такая целостность — корреляция людей и групп, мыслей и верований, сил и обстоятельств — неповторима и значима сама по себе. Она не была ступенькой на пути к настоящему, не служила идолу «прогресса» и должна постигаться в своем своеобразии, отличии от нам знакомого и привычного. Обращаясь к роли романтизма в становлении исторической науки, Дильтей отмечал стремление к «углублению во все самое чуждое», идею внутренней формы, композиции как «нового вспомогательного средства исторической критики» и разработку герменевтики (Dilthey, 1981: 110–111).

Романтический взгляд на прошлое превосходно выразил П. Мериме в своем предисловии к «Хронике времен Карла IX». Во-первых, он указал на то, что из источников о прошлом ему предпочтительны мемуары, улавливающие характеры действующих лиц, людей давних времен, тех индивидов, которые некогда жили, мыслили и действовали. Во-вторых, ему бросилась в глаза несхожесть представлений и нравов людей прошлого с нашим настоящим. Оценивать их действия (в случае романа Мериме — Варфоломеевской ночи) нужно сообразно убеждениям и ценностям той эпохи, не впадая в морализаторство («вот почему я убежден, что к поступкам людей, живших в XVI веке, нельзя подходить с меркой XIX»). Суждение об одном и том же деянии следует выносить в зависимости от того, в какой стране, в какой период времени оно совершалось. Если прежняя историография была преисполнена благих стремлений дать урок добра и зла, предлагая примеры для настоящего, то теперь ее задача и скромнее, и намного сложнее: она видит в людях прошлого черты, отличающие их от нас самих. Вряд ли Мериме читал труды своего современника, обстоятельного немца Леопольда фон Ранке, но он уловил дух происходивших в то время перемен в историческом знании. Разумеется, изучать авторов древности полезно и для того, чтобы брать пример с героев прошлого, но взгляд историко-филологических штудий XIX столетия сместился от поучений к постижению иного, непохожего на наши убеждения и предрассудки. Если многие века историки раз за разом повторяли мысль Фукидида о том, что судьбы людей и народов повторяются в силу единства человеческой природы, то историческое

сознание современности унаследовало от романтиков представление о неповторимости индивидуальных событий³.

У живших ранее имелись свои не менее и не более узкие, чем у нас, представления о мире. Как заметил в предисловии к антологии испанских писателей П. Менендес Пидаль, понять нужно не то, что делает идеи общими для всех времен, но то, что принадлежало именно этой эпохе, стране, личности; кстати, если мы так уж хотим, чтобы история была *magistra vitae*, то мы лучше начнем различать преходящее и вечное, благонамеренное и дурное в настоящем, научившись понимать границу между ними в эпохи, которые уже канули в Лету (Menendez, 1978: 11). В споре с теми историками, которые подчеркивали неизменность человеческой природы, а тем самым и неизменность основных мотивов хозяйственной деятельности, В. Зомбарт, утверждавший различия «духа» хозяйствующих субъектов, отвечал (Зомбарт, Ал., 2005: 31):

И несомненно, заманчивая задача — понимать и изображать то, что остается неизменным во всей истории человечества. Только, пожалуй, это не задача историка. Ибо писать историю — значит описывать постоянное разнообразие.

Первым признаком историзма становится утверждение инаковости прошлого. Основанием для любого исторического повествования является не только память об ушедшем, усилие воспоминания, но и понимание того, что нечто значимое навсегда ушло и уже не вернется.

Вторым его признаком было то, что история выступала как важнейшая из *Geisteswissenschaften*, причем к «наукам о духе» были отнесены не только история литературы, религии или философии, но и экономика и право («исторические школы» права и национальной экономики). Хотя выражения *Zeitgeist* и *Volksgeist* восходят к Гегелю, в трудах представителей *Historismus* эти «духи» лишились связи с самопостижением абсолютного духа — пантеизм не является более опорой истории. Десакрализация новозаветного «духа» происходила и в «либеральной» протестантской теологии. Как характеризовал это движение впоследствии Р. Бультман, в духе видели «силу морального суждения и поведения, а атрибут „духовный“ понимался как моральная чистота». Историзм увязывали с философским идеализмом, тогда как в возникшей к концу

³Можно сказать, что по своим устремлениям Фукидид был скорее социологом и политологом, нежели историком в современном смысле. Как заметил В. Йегер, главное стремление Фукидида — «превзойти увлеченность чужеродным и иным в однократном событии и постичь лежащий в его основе всеобщий и постоянный закон» (Йегер, Любжин, 2001: 446).

XIX в. так называемой «школе истории религии» трактовка «духа» становится прежде всего психологической (Vultmann, 1964: 52–53). Будь то имеющая дело с текстами филологическая герменевтика или понимающая психология («дивинация» Шлейермахера) — и та и другая имеют дело с «духом». Привилегированной областью исследований той эпохи были труды по истории искусства, религии и философии.

Уже романтики дали образцы трудов по истории литературы (скажем, знаменитый курс А. Шлегеля по истории драматического искусства); на протяжении XIX в. в Германии были написаны превосходные исследования по истории человеческой мысли. Сложнее было последовательно держаться «духа» в случае экономики и социологии, возникавшей в те годы «на стыке» исторической школы *Nationaloeconomie* и марксизма⁴. Последовательно «понимающей социологии» держался только Зомбарт, тогда как у М. Вебера обнаруживаются колебания между номотетической и идиографической позициями. Для нас значимо, что труды относительно «духа капитализма» оказались важной точкой перехода к иной историографии: учение о «ментальностях» Л. Февра возникало под прямым влиянием трудов Зомбарта по истории капитализма.

Если историческое бытие есть «поток жизни», некогда бывших мыслей и переживаний (*Erlebnis* Дильтея), то и познание этого потока должно быть адекватным — объяснению естественных наук противопоставляются описание и понимание. Такова третья характерная черта историзма — дуализм, заданный либо самим предметом исследований (живым духом и мертвой природой), либо исключительно в силу применяемого ученым метода (В. Виндельбанд, Г. Риккерт). Стоит иметь в виду, что историзм возникал в непрестанной полемике с натурализмом и позитивизмом. Как писал свидетель этой борьбы Э. Кассирер (Кассирер, Вимер и Кузнецов, 1998а: 43):

Между натурализмом и историзмом не только не могло быть никакого сотрудничества или примирения, но даже взаимного понимания [...] В ходе этой борьбы в большей степени, чем о проблеме познания и учения о методе, речь идет о противостоянии «мировоззрений», в котором едва ли действуют чистые научные аргументы.

⁴Хорошо известны тесные связи Зомбарта с предвоенной социал-демократией, Теннис был социалистом и сделался членом СДПГ, да и М. Вебера нелепо изображать в качестве некоего «анти-Маркса», даже если не подводить его к марксизму на манер А. И. Неусыхина.

Поэтому учение о методе познания в «науках о духе» было явно связано с той аксиомой, что «дух веет, где хочет» и постижим он именно как дух для другого мыслящего и чувствующего существа. Этот метод познания получал разные названия («идиографический», «индивидуализирующий»), науки разделялись по предмету (Дильтей) или по методу (Риккерт), но суть от этого не менялась: основой всей историографии оказывалась биография.

Правда, уже сам Дильтей, сделавший описательную психологию и герменевтику методами историографии *par excellence*, под конец жизни все чаще возвращался к гегелевскому объективному духу: вселенная многообразных связей между индивидами и группами, конечно, принадлежит жизни в самом широком смысле слова, ибо «историческая жизнь есть составная часть жизни как таковой» (Dilthey, 1981: 323), но те целостности, с которыми имеет дело историк, образуют структуры, и только из них мы постигаем индивидуальную жизнь, причем сами эти структуры никак не сводятся к душевной жизни индивидов. Объективации жизни, т. е. экспрессии и плоды деятельности, обладают собственной реальностью, которая своими структурными связями задает рамки индивидуальных переживаний. Разумеется, объективный дух у Дильтея отличен от гегелевского (*ibid.*: 180–185), но попытка обоснования исторической науки посредством понимающей психологии вступает в противоречие со стремлением перейти от эмпатии к истории культур, государств, наций и религий. Прямого пути «вчувствования» к людям прошлого не существует, «вчувствование» далеко не всегда помогает нам даже в понимании современников.

По существу, наследниками Дильтея в сообществе профессиональных историков остаются авторы биографий мыслителей и художников. Еще меньшим оказался для сообщества историков «вес» предложенного неокантианцами баденской школы метода «отнесения к ценности»: быстро обнаружилась искусственность противопоставления наук о природе и наук о культуре, в особенности когда речь идет о науках номотетических — экономике, социологии, демографии — и идиографических: истории, этнографии, филологии. К тому же факты «нагружены ценностями» и в случае естествознания, поскольку факт есть нечто, верить во что — рационально: «Не иметь ценностей значило бы также не иметь фактов» (Патнэм, Дмитриева и Лебедева, 2002: 262). Науки о природе не лишены ценностного измерения, причем в случае некоторых дисциплин — экологии, климатологии — оно оказывается сегодня преобладающим.

Критики такого методологического дуализма не без оснований писали о том, что он является наследием теологического взгляда на особое положение человека в мироздании, каковое пытались сохранить, отвергая «натурализм» в том, что затрагивает «дух» и «культуру» (Albert, 1977: 128). Однако это не отменяет того, что *Historismus* оказал огромное воздействие на несколько поколений историков, да и сегодня термин «историзм» не случайно обозначает некий общий принцип, отличающий историческое сознание.

ИСТОРИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

Историческое сознание имеется у любого взрослого человека, более того, без памяти о своем прошлом человек лишен самого себя, своей идентичности или «Я». Любое определение сознания и самосознания предполагает память, и наоборот — о памяти мы осмысленно говорим только с учетом сознания. По существу, мы тождественны нашим воспоминаниям о прожитой жизни: только они принадлежат нам безусловно. Это воспоминания о том, чего уже нет; а образы памяти смешиваются с тем, что прибавило воображение: «Мы сотканы из ткани наших снов». Поэт продолжал эту мысль так: «... and our little life is rounded with a sleep» — наши собственные воспоминания пересекаются и сливаются с окружающими их фантазиями других. В этом потоке воспоминаний происходили перемены — мы менялись вместе с окружающими обстоятельствами. Так как мы были и остаемся «общественными животными», то одновременно с нами изменялись другие люди, передававшие нам память о предшествующих поколениях. Не вдаваясь в написанное по поводу сознания и памяти в сотнях трудов философов, психологов, нейрофизиологов и представителей еще ряда наук, мы можем сказать, что историческое сознание прирождено человеку. Можно назвать его вслед за рядом философов историчностью, проистекающей из временности и конечности. Различия между индивидами и группами в степени развития этого сознания определяются множеством социальных условий.

Понятно, что у живущих в природных циклах обитателей племен, а затем и деревень это сознание было чаще всего неразвитым. Веками существовали великие цивилизации, в которых историческое измерение сводилось к мифам о первоначальном времени. Мы можем наблюдать сегодня, как высокотехнологичная цивилизация способствует атрофии исторического сознания, словно она выполняет программу из гимна: «Du passé faisons table rase». Причем делает это с завораживающей быстротой и эффективностью. «В уверенном движении марша, которое ради

некоего неведомого будущего выхолощивает настоящее и обесценивает прошедшее, кроется нечто фантастическое» (Юнгер, Михайловский, 2001: 171). Речь совсем не обязательно идет о малограмотных и обездоленных в рамках такой цивилизации.

Более того, если посмотреть на немалую часть книг по политической и военной истории на прилавках книжных магазинов, то окажется, что они написаны людьми, не просто искажающими прошлое в силу идеологической зашоренности, но и не умеющими мыслить. К этим «письмам темных людей» на темы истории относится большая часть публикаций, нацеленных на пропагандистский эффект и делящих мир на «своих» и «чужих» по заранее предписанным признакам. Это естественно для мира политики да и не ново; скажем, любому испанисту известно, что «черная легенда» по поводу Испании на протяжении трех столетий разворачивалась в протестантских странах, прежде всего англосаксонских, с навязчивыми образами «охоты за ведьмами» и «судов инквизиции», хотя в протестантских землях Германии ведьм сожгли в сотню раз больше, а в Англии число казненных католиков превосходило количество протестантов и марранов, прошедших через суды инквизиции в Испании. Такое сочинительство «легенд» существует и ныне. Прошлое нужно лишь для подкрепления политических целей. «Сегодня в большей степени, чем когда бы то ни было, — писал М. Оукшот, — прошлое представляет собой поле, на которое мы выпускаем наши моральные и политические мнения, словно гончих на луг в воскресный день» (Оукшот, Никифоров, 2002: 151). Исторически мыслить таким «гончим» не требуется.

Историческое мышление, как и любое другое мышление, подчинено законам логики. Мыслить — значит пользоваться понятиями и высказывать суждения. Мысль соотносится с мыслимым, мыслящий субъект нацеливает свои суждения на объект, ставит и решает проблемы, расчлняет и синтезирует данные опыта. Одно описание различных философских и психологических концепций мышления потребовало бы сотни страниц. Применительно к истории можно сказать, что используемый последователями С. Л. Рубинштейна термин «наглядно-образное мышление» характеризует по своей форме мышление историка — даже на уровне научного исследования оно всякий раз выходит за пределы логических операций с понятиями. Основанием теоретической науки является, как писал Кассирер, «чистый понятийный знак», к коему совершается переход от «словесного знака», который еще не оторвался от мира созерцания, от общих представлений. То, как У. Джеймс

понимал соотношение «перцептов» и «концептов», вряд ли вдохновит физика, поскольку лишённые чувственной стороны концепты истолковываются им исключительно инструментально, а понятийная схема мира надстраивается над перцептивной, и есть лишь набор «что», помогающих топографически расположить «это» (Джеймс, Грязнов, 2002: 44–46), но подобное смешение понятий с представлениями характерно для историка.

Применение количественных методов в историографии ограничено; даже включаемые в повествование термины номологических наук чаще всего не утрачивают связи с естественным языком. Такие термины, как «формация» или «цивилизация», «сословие» или «город» не обладают строгостью естественно-научных понятий. В отличие от физика, однозначно определяющего свои термины («масса», «пи-мезон» и т. п.), историк говорит не о «городе вообще», а об античном полисе, отличающемся от Александрии и Антиохии времен диадохов, не говоря уж о древнем Уре или Лондоне времен Диккенса. Достаточно вспомнить начальные страницы очерка М. Вебера «Город», чтобы оценить это многообразие (Вебер, Гервс, 2001: 333–486).

Использование повседневного языка, обращение к мыслям и страстям людей роднят историка с литератором. Иные историки были замечательными стилистами — читать их не только полезно, но и приятно. А среди писателей мы легко найдем тех, кто обладал способностью передавать ход времени, причем речь идет не обязательно об авторах исторических романов. Историческое сознание Набокова или Бунина, возвращающихся к переживаниям детства и юности в «Других берегах» и «Жизни Арсеньева», воссоздает и картину России конца XIX — начала XX вв. Отличие историка в том, что он занят познанием прошлого, желает получить неопровержимую его картину и соблюдает конвенции, принятые в его дисциплине.

Историческое мышление есть необходимая предпосылка познания, целью которого является точное знание. Только мыслить мы можем все, что угодно, от «золотой горы» до писавших «Велесову книгу» ариев или «русских» этрусков. Повествование должно быть внутренне непротиворечивым, связным, но оно может быть чистой фантазией (скажем, «Сильмариллион» Толкиена) или иметь лишь отдаленное отношение к истории. Возьмем для примера литературное произведение, в котором явственны как историческое сознание, так и историческое мышление — «Искендер-наме» Низами. Поэт XII в. был одним из наиболее образованных людей своего времени, он обращался к давнему прошлому,

сознавая, что говорил об ушедшей эпохе, т. е. мыслил он исторически. Но он воспроизводил обрывки сведений об Александре Македонском и дополнял их своей фантазией, а потому возглавлял его герой «румийцев» (т. е. «ромеев», известных ему византийцев), а сражался он в том числе и с Русами, причем в союзе с Хазарами. Будучи образованным арабо-мусульманскими философами, Низами помнил, что учителем царя был Аристотель, споривший с Платоном, а потому повествовал в своих стихах, как по итогу публичного диспута Александр отдает первенство Платону, а потом царь беседует еще и с «отшельником Сократом» (до нас все же дошел образ спорщика на улицах и площадях Афин). Эта замечательная поэма может служить для нас источником, позволяющим судить не об Александре или древнегреческих философам, а об уровне исторических знаний в тогдашнем исламском мире. Равно как и о том, что познанием прошлого тогда не занимались.

Способность исторически мыслить воспитывается. Она не сводится к «вчувствованию», хотя эмпатия является важным аспектом отношения к истории.

Умение понимать характер людей, знание того, как они обычно реагируют друг на друга, способность «проникать» в их мотивы, принципы, ход мыслей и чувств (а это не в меньшей степени применимо и к поведению масс, и к развитию культуры) — это таланты, необходимые историкам, они не нужны ученым-естественникам (или нужны им не в такой степени). Способность познания, чем-то похожая на способность познания чужого характера или способность узнавать лицо, столь же важна для историков, как знание фактов (Берлин, Сапов, 2002: 68).

Такое мышление предполагает реализм, учет природы людей, которые требуются не только деятелю, но и тому, кто исследует прошлое. Начиная писать «Государя», Макиавелли говорил об огромности дистанции между тем, как люди живут и как они должны были бы жить, а потому тот, кто отвергает действительное ради должного, вредит себе и погибает, сталкиваясь с множеством преследующих свои интересы лиц; склонный к идеализации того или иного периода, народа, класса и даже героя историк утрачивает ту ясность видения, которая служит объективности рассказа. Но вырабатывается такая объективность опытом понимания не исторических персонажей, а окружающих людей, его современников. Немцы называют ее *Menschenkenntniss*, но можно именовать ее и рассудительностью, здравомыслием, каковые полагались в античности одной из основополагающих добродетелей — *φρόνησις* — той

«практической мудрости», которую Цицерон определял как «знание того, к чему надо стремиться, и того, чего надо избегать». Другой не менее важной чертой исторического взгляда на мир является скептицизм, рождающийся из того же здравого смысла: почти все доступные нам источники (исключим данные археологии) созданы людьми с их интересами, страстями и предрассудками, которые отличаются от наших собственных — не менее сомнительных.

Наконец, есть еще одна особенность деятельности историка, отличающая его не только от естествоиспытателя, но и от представителя социальных наук. Как заметил Кассирер (Кассирер, Вимер и Кузнецов, 1998b: 661),

именно богатство и разнообразие, глубина и интенсивность своего собственного личного опыта — отличительная черта большого историка. Без этого труды останутся бесцветными и безжизненными [...] Последовательно вытравляя из рассказа признаки своей индивидуальной жизни, историк не может таким путем достичь высшей объективности. Наоборот, таким образом он может лишь уничтожить в себе лучшее орудие исторической мысли. Притушив свет своего собственного личного опыта, я перестаю замечать опыт других и не могу судить о нем.

Без опыта политики в своем времени историк мало что поймет в борьбе Мария и Суллы или в гражданской войне в Испании. Не имевшему опыта философствования не стоит заниматься историей философии. Однако все это относится к предпосылкам исторического познания, но не к нему самому.

ПОЗНАНИЕ ПРОШЛОГО

Познание есть отношение нашего сознания к миру, это деятельность, результатом которой является знание. Познавая, мы движемся от данных опыта к тому, что способно их объяснить, от evidence к inference. Такая деятельность ума была свойственна уже первобытному человеку, решавшему практические задачи. Знания требовались и строителю пирамид, и навигатору, и торговцу. Практические цели направляли и то знание, которое касалось других людей: чтобы общаться с иноплеменником, нужно знать чужой язык, чтобы управлять поселением, необходимо знание о потребностях и верованиях его обитателей и т. д. Над практически ориентированной познавательной деятельностью возвышается знание о мире в целом. Человеческий ум всякий раз обнаруживает, что

он сталкивается с внешней для него реальностью, и с детства учится различать только кажущееся и действительное. Вопрос об истине ставится и в мифологии, и в искусстве; опыт священного в религии отделяет исполненную подлинным смыслом реальность от преходящего и лишённого такого смысла. Философское умозрение ставит эти вопросы уже на уровне абстрактных понятий и порождает ряд частных наук. Вопрос о методе возникает вместе с разграничением «пути истины» и «пути мнения».

Хотя возникновение историографии в Древней Греции в меньшей мере связано с философией, чем у прочих наук, вопрос об обоснованности знания ставил уже Фукидид, испытавший несомненное влияние тогдашних софистов. Рассказ историка о прошлом притязает на истинность, а это предполагает опору на факты, полученные посредством интерпретации источников. Сами документы и артефакты еще не являются фактами для историка, подобно тому, как вещи и процессы не представляют собой фактов для физика. Можно сказать, что наличие берестяной грамоты есть факт для обнаружившего ее археолога, но прочитанный текст этой грамоты указывает на автора, адресат, социальные отношения, религиозные верования, повседневную жизнь в Новгороде. Вся совокупность источников образует сеть или комплекс сведений, позволяющих судить о жизни в XI—XII вв. Суждение относительно совмещения язычества с православием в сознании новгородских словен будет фактом, если оно подкрепляется этими сведениями.

Факты суть не предметы, а установленные истины по поводу предметов, высказывания, которые нашли (и все еще находят) подтверждение. Вещи и отношения между ними воздействуют на нас, входят в поле нашего сознания — факты всегда являются данными сознания. Эмпирическим базисом науки их делает то, что они интересубъективны, возобновляются и воспроизводятся при смене наблюдателя или истолкователя, подтверждаются и выступают как нечто не менее «упрямое», чем гравитация или невидимые нами социальные институты, побуждающие, например, одеваться определенным образом или переходить дорогу в положенном месте. Наука начинается не с фактов, а с проблем, с движения гипотез, с перехода от незнания о нашем незнании к знанию о незнании и только потом — к уверенному знанию о знании. Историк задает вопросы по поводу источника, на которые он желает получить ответ, ищет связь содержащихся в нем сведений с тем, что скрыто, что

не осознавалось самим автором и т. д. Каждый отдельный источник увязывается с другими, проверяется посредством сопоставления — факты устанавливаются через эту работу истолкования и реконструкции.

Правда, в случае истории да и большинства наук о человеке, под «фактами» подразумевается нечто иное, чем в науках о природе. Инструменты и оружие, дворцы и хижины, деньги и украшения отсылают нас не к физическим свойствам предметов, но к представлениям и ценностям людей. Наши сегодняшние знания о звездах, болезнях или экономике не помогут нам в понимании мотивов поведения людей прошлого, вкладывавших в них иной смысл. Мы сталкиваемся со сходной ситуацией, имея дело с представителями малознакомой нам культуры: не только антрополог в первобытном племени, но и турист в Китае или Саудовской Аравии обнаруживают смысловые различия. Но их ему могут растолковать современники, тогда как историк должен сам открыть эти скрытые значения. Редуцировать смыслы к наблюдаемому поведению не удастся, акты сознания неустранимы в историческом повествовании. Объяснения в нем всегда предполагают интенциональность сознания и служат ему, причем сами объяснения часто имеют телеологический характер⁵. Казалось бы, тем самым находит подтверждение тезис представителей историзма о понимании как господствующем в историографии методе, что отличает ее от прочих наук.

Однако, если мы посмотрим на сегодняшние социальные науки, то обнаружим, что повсюду, где уровень квантификации невысок, мы имеем дело со сходными процедурами. Это очевидно в случае этнографии, где, словами К. Гирца, «теоретические обобщения столь невысоко поднимаются над интерпретациями, что вдали от них они теряют смысл и лишаются всякого интереса» (Гирц, Лазарева, 1997: 194); в психологии и социологии сохраняются границы применения количественных методов, поскольку они имеют дело с осмысленным поведением людей; даже в экономике раздаются голоса тех, кто ставит под сомнение и лежащую в основе *economic anthropology* антропологию, и подмену социальной реальности игрой математических моделей⁶. Обособление истории на том основании, что она занята прошлым, а не настоящим, неверно уже

⁵Обсуждение логических проблем в исторических науках дано в работе Вригт, Тарусина, 1986: 35–242.

⁶Сошлось для примера на резкую критику такого рода игр Т. Пикетти: Пикетти, Дунаев, 2015.

потому, что все социальные науки имеют дело с изменяющейся во времени действительностью да и создавались они мыслителями, которые постоянно обращались к истории — достаточно вспомнить Маркса и Вебера, Дюркгейма и Парето. То, что сегодняшней средний социолог или экономист игнорирует историю, еще не является свидетельством того, что сами эти науки стоят вне истории. На стыке ряда социальных наук возникали синтетические концепции («стадии роста», «догоняющая модернизация», «мир-системный анализ» и т. д.), которые нацелены именно на постижение истории.

Пока историки остаются членами научной корпорации, они принимают ту картину мира, которую дают другие науки. Разумеется, сегодня трудно говорить о единой «научной картине мира» или о «научном мировоззрении», как в XIX в. В условиях все растущей специализации такой синтез всего со всем вряд ли по силам даже для самого эрудированного теоретика. Учеными нас делает принятие ряда аксиом и установок, характерных для научной рациональности как таковой. Каждая наука вычленяет свой слой или «отрезок» действительности, по-своему «кодирует» его своим языком, что нередко ведет к взаимонепониманию и даже к «конфликту интерпретаций». К тому же одна картина сменяется другой и в пределах каждой из дисциплин, причем историк не может быть одновременно знатоком во всех этих областях. Он вынужден просто считаться с теми теориями, которые разрабатываются его коллегами — прежде всего специалистами в области социальных наук.

ТОТАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

XX век был временем необычайно быстрого развития наук о человеке. Одни раньше, другие позже, они отделялись от философии, становились университетскими дисциплинами, образовывали научные сообщества со своими авторитетами, ассоциациями и журналами. Большинству этих наук был свойствен своего рода «империализм» — претензия на то, что они главенствуют в этом открывающемся пространстве знания. Можно вспомнить о том, какими были претензии психоанализа и даже бихевиоризма (Уотсон!) в психологии, как структурализм из лингвистики стремился выйти на простор всей культуры, не говоря уж об экономике и социологии. Марксизм был просто самой притязательной доктриной да и отличался в лучшую сторону от поделок его оппонентов.

Причины такого «империализма» лишь отчасти связаны со стремлением к мирской славе; в куда большей мере сказывалось то, что

открытия и свершения отдельной науки о человеке превращались в аксиоматику для всех остальных. Считалось, что все наши мысли и чувства принадлежат психике, соответственно, наука о ней приобретала гипертрофированный вид, становилась основанием и математики («психологизм»), и права, и религиоведения. Так как мы являемся «общественными животными», а «социальное нужно объяснять социальным», социология представляла как «наука наук», проясняющая в том числе и то, как в социальном взаимодействии возникали и развивались науки о природе. Самые любопытные результаты такого сорта генеалогий относятся к социальной психологии, которая перенимала претензии обеих ее составляющих дисциплин. 1000-страничный труд Р. Коллинза об эволюции философских учений является ярким примером удивительного сплава амбиций и невежества. Впрочем, автору этих строк доводилось рецензировать международный проект социальных психологов, желающих применить к истокам астрофизики методики символического интеракционизма: звезды ведь тоже присутствуют в нашей душе, а теории о них порождаются воображением в социальном взаимодействии. Экономисты видят в своей дисциплине «самую научную» общественную науку на том основании, что она в большей степени математизирована. Даже этнографы одно время притязали на то, что методы наблюдения за поведением в микронезийских племенах универсальны и пригодны для анализа жизни в мегаполисах («антропология в метро»).

Не избежала такого «империализма» и история, причем для этого оснований у нее было даже больше, чем у прочих наук. Во второй половине XX столетия произошли огромные перемены в работе историков, которые нередко называли революционными. Конечно, речь идет о профессиональном сообществе исследователей, а не о школьных учебниках, популяризациях, идеологически «правильных» сочинениях приверженцев тех или иных стран и партий. В них мало что изменилось: люди по-прежнему делятся на good guys and bad guys, причем первые либо уже одержали победу, продвинув прогресс к новым вершинам, либо его когда-нибудь достигнут. Даже если академические историки участвуют в спорах, затрагивающих острые политические темы, критерии их профессионализма сделались значительно более строгими. Необычайно расширилась тематика, поменялись методы — историки стали задавать иные вопросы и находить иные источники.

Начало этому еще в 1930-е гг. положила социальная история, развивавшаяся прежде всего во Франции (школа «Анналов»), затем последовали экономическая история и связанная с нею клиометрия, история

повседневности, история детства, верований, вкусов и т. д. Даже самая общая характеристика развития социальной истории в Германии, Великобритании или Франции потребовала бы отдельной обширной статьи. Несомненным было влияние марксизма, но наряду с ним историки обращались кто к Дюркгейму и Симиану, кто к Веберу; «история ментальностей» создавалась с учетом доктрин современной психологии — от психоанализа до когнитивной психологии. Переход от «событийной истории» и всей прежней *histoire historisante* с ее сосредоточенностью на политической, дипломатической и военной истории, осуществленный основоположниками школы «Анналов» (Л. Февром, Ф. Броделем и др.), не был, конечно, разрывом со всей предшествующей историографией, как это нередко утверждали ее представители. Они сами многое переняли у Вебера и Зомбарта, да и нелепо настаивать на том, что историей институтов ранее никто не занимался: достаточно вспомнить наших В. О. Ключевского или М. И. Ростовцева. Тем не менее, изменения были существенными, они поменяли само представление членов этого научного цеха о своей работе. Прошлому стали задавать вопросы, которые были навеяны проблематикой других социальных дисциплин. Ф. Бродель призывал историков научиться говорить языками всех остальных наук о человеке (Braudel, 1969: 78–83).

Экономические циклы, повторяющиеся серии, групповые конфликты, институционализированные верования, мемориальные празднества, воображаемые миры давних эпох — все это сделалось полем исследований. Переход к так называемой «новой истории» во Франции еще более расширил круг вопросов. Поменялись даже представления об историческом времени. Историки не обязательно следовали за Броделем с его *longue durée*, но, говоря о средневековой цивилизации (Ж. Ле Гофф) или, скажем, о «цивилизации барокко» (П. Шоню), они отходили и от прежней историографии, сконцентрированной на великих личностях и государственных актах, и от историософских грандиозных фантазий по поводу цивилизаций на манер Шпенглера и Тойнби. Своего рода мета-теорией сделалась «историческая антропология», которая соприкасается как с философией, так и с рядом наук о человеке. Ею обосновывается методический плюрализм историографии. При этом сама история становилась своего рода метанаукой для всех наук о человеке. Разве социальные науки не изучают исторически существовавшие общества и само сегодняшнее общество не изменяется каждый год и каждый день? Если «умственный инструментарий», как первоначально называл

Л. Февр «ментальности», у людей прошлого был иным, то не является ли и психология частью истории? Предложенный в начале XX в. А. Берром термин тотальная история был принят школой «Анналов» как программа⁷. Так как наше настоящее также принадлежит истории и содержит в себе следы прошлого, то и к нему подход должен быть историческим. Бродель ссылается на те слова, которые Февр раз за разом повторял в последние годы жизни относительно истории: «наука о прошлом, наука о настоящем».

Тем самым поменялись методы, причем преобладал импорт их из других дисциплин. Необходимость таких заимствований очевидна: имея дело с экономическими или демографическими процессами в прошлом, нужно ознакомиться с существующими ныне научными теориями. Как уже было сказано выше, историк принадлежит научному сообществу, а потому должен учитывать те сведения, которые дают нам науки о природе, идет ли речь о космологии или химии. Более того, сегодня вспомогательные исторические дисциплины развиваются не без участия естествознания (дендрохронологии, радиоизотопного датирования, аэрофотосъемок и т. п.), а геология, география и биология издавна входили в повествование историков: полезные ископаемые, морские торговые пути, климат, растения и животный мир учитывались историками и в древности.

Только в случае социальных наук мы имеем дело с набором весьма неопределенных полей знания. Во-первых, существуют несовпадения между разными дисциплинами: социолог и экономист часто расходятся в видении одних и тех же процессов; словосочетание «когнитивные науки» служит «шапкой» для ряда дисциплин, говорящих на непонятных друг для друга языках. Во-вторых, в рамках самих этих дисциплин не было и нет единства. Причем речь идет совсем не обязательно о расхождении, проистекающих из привнесенной извне идеологии, как это представляется многим марксистам, видящим в противостоящих им доктринах «буржуазную идеологию». Представители кейнсианства спорят с монетаристами, вполне «буржуазный» mainstream экономической науки («неоклассика») расходится с «австрийской школой», при этом эпитеты, которыми награждают представителей последней, бывают даже более резкими, чем на истматовском жаргоне. О социологии и психологии еще труднее говорить как о «нормальных науках» в терминах

⁷ Иногда со ссылкой на Мишле с его знаменитым предисловием к многотомной французской истории 1869-го г.

Т. Куна, поскольку в социологии даже самые общие понятия по-разному определяются сторонниками Р. Дарендорфа, Н. Лумана и П. Бурдьё (а немалое число сегодняшних социологов вообще не считают общество объектом социологии: эта дисциплина «кодирует» социологически все, что угодно). В психологии бихевиористы, когнитивисты и психоаналитики просто не имеют общего языка, а иногда и прямо называют друг друга шарлатанами и невеждами. Само прилагательное «социальный», применяемое представителями всех этих наук, понимается совершенно по-разному, да и где в человеческом мире провести границу между «социальным» и «не-социальным»?

Наконец, применимость методов, разработанных для познания современного общества, к далеким от него социумам и культурам часто вызывала сомнения. Ориентация на новейшие наработки и применение «последнего слова науки» для объяснения давних обществ в терминах дисциплин, разработанных для нынешнего общества, была метко названа П. Бурдьё «этноцентризмом». Да и видение самой истории представителями таких наук далеко от признания ее метатеоретического статуса, поскольку история для них есть некий банк данных.

Историк раскапывает эти данные и затем предоставляет их своим более теоретически мыслящим коллегам, которые затем производят научные обобщения и теории, устанавливая связи между различными видами социальных ситуаций. Эти теории могут затем применяться к самой истории для того, чтобы улучшить наше понимание тех способов, которыми взаимно соединяются ее эпизоды (Уинч, Горбачев и Дмитриев, 1996: 99).

Только нацелены эти обобщения на сети отношений, не просто осмыслявшихся людьми в иных терминах, но и существовавших лишь посредством иных смыслов, актуальных только для той эпохи. А потому историческое объяснение куда больше напоминает применение знания иностранного языка для понимания разговора, нежели знания законов физики для понимания работы паровой машины. Никакая умозрительная «мир-система бронзового века» или «политэкономия феодализма» не поможет историкам, занятым хоть древним Шумером, хоть трудным периодом Московского княжества в середине XV в. (борьбой Василия Темного и Шемяки).

Не будучи специалистами во всех этих дисциплинах, историки заимствовали кажущиеся им наиболее пригодными *ad hoc* методы. Случайность такого рода импорта хорошо видна уже по «классикам»; когда Бродель сочувственно ссылается на Ф. Симиана и Ж. Гурвича, то

подавляющее большинство сегодняшних социологов, прослушавших подробный курс по истории своей науки, зададут вопрос: «Кто это такие?» Конечно, историк русской эмиграции вспомнит, что меньшевик Гурвич, писавший в Германии начала XX в. диссертацию о Фихте, потом преподавал социологию в Сорбонне, но сегодня редко кто открывает его заполненные искусственными классификациями многостраничные труды. В силу моды на психоанализ к нему часто обращались историки, но они брали только то, что им более или менее подходило, причем чаще всего из популярных изложений. Донедавна секта свидетелей «травмы исторической памяти» ссылается на Фрейда, хотя о травме, ведущей к истерическому неврозу, он писал только в самых ранних своих трудах, а затем от такого упрощенного взгляда отказался. Занимаясь социологией Н. Элиаса, автор этих строк обнаружил, что во Франции его активно использовал и пропагандировал такой выдающийся историк, как Р. Шартье, тогда как другой не менее выдающийся Э. Ле Руа Ладюри посвятил сотню страниц уничижительной критике этого социолога. В рамках самой социологии у Элиаса имеется небольшое число последователей в Голландии и немецкоязычных странах, но и в них бывшая мода уже прошла. Следует ли из этого, что историку нельзя использовать подходы Элиаса к «процессу цивилизации» или к придворному обществу? Разумеется, никак не следует. Но стоит ли тогда ссылаться на авторитет социологии как науки? Или видеть в том, как этот социолог обосновывал свою теорию с помощью психоанализа, образец для подражания?

Таких примеров можно было бы привести изрядное число. Заимствования следовали и за интеллектуальными модами, теми доктринами *comme il faut*, которые отвечали веяниям в «левой» университетской среде. Когда в ней совершается переход от Сартра и Адорно к Фуко и Деррида, то можно ожидать появления сочинений историков, в которых какую-то роль начинают играть то «авторитарная личность», то «микрoфизика власти».

Конечно, далеко не все заимствования были бесплодными. Если нынешний политолог использует математическую теорию игр, применяя ее к выборам сегодняшних президентов и сенаторов в США, то почему не использовать ее для выборов тех же персонажей в XIX столетии? Если так называемая «теорема Томаса» работает при осмыслении массового поведения в наше время, то она потенциально применима при изучении и биржевого краха 1929 г., и гонений на христиан во II в. н. э. Историческая наука обогатилась новыми инструментами. Методологический

плюрализм сам по себе совсем не обязательно плох и не сводится к болтовне о «мультидисциплинарности», но он никак не может сделаться основанием тотальной истории. А именно такая разносторонность, даже всеядность, предлагалась в качестве фундамента: на место Провидения или Разума в качестве такого базиса пришла деятельность коллективного субъекта, цеха академических историков с их дистинкциями и синтезами по чужим прописям.

Разница с прежней философией истории заключается именно в том, что тотальность обеспечивается не умозрением, не априорным принятием того, что человеческая природа определяется стремлением к разуму и свободе (Кант, Фихте) или направляется абсолютным духом (Гегель). Идея всемирной истории донныне несет на себе след такого умозрения, хотя на практике она выступает как некое предельное понятие, горизонт, на котором видимы очертания тех или иных действующих субъектов. Более приземленные версии, будь то либеральная Whig history или исторический материализм, сохраняли целостное видение истории и задавали рамки, горизонт эмпирических исследований. Более того, марксизм оказал немалое влияние на историографию XX в., причем он никак не сводится к набору self-fulfilling prophecies, как утверждал К. Поппер. Кстати, сам термин «тотальная история» принадлежит и Г. Лукачу, обосновывавшему ее возможность в своей ранней работе «История и классовое сознание». От нее идет прямая линия сначала к «эмансипативной теории» Ю. Хабермаса в «Познании и интересе», а затем к множеству сегодняшних «освободительных» сочинений (Хабермас, Кильдюшов, 1986: 167–191). Поменялся лишь субъект такой тотальности: от рабочего класса, превращающегося из «класса-в-себе» в «класс-для-себя», произошел переход к всякого рода меньшинствам, свобода коих должна означать свободу для всех. Пока под диалектикой подразумевается гегелевское движение от абстрактного к конкретному, а учение об экономических интересах социальных групп не перетекает в спасительное для человечества знание, марксизм вполне приемлем и для лишенного веры в доктрину историка. Если же «невидимая рука рынка» или «классовая борьба» ведут человечество к некоей цели, то мы имеем дело с лежащей за пределами науки телеологией. Есть закономерности, которые наблюдаемы в истории, но нет законов Истории, пока мы остаемся в пределах эмпирического знания.

Ни прежняя историософия, ни безбрежный плюрализм, переходящий в «этноцентризм», не могут выступать в качестве основания исторической науки. Историкам полезно познакомиться с философскими

учениями прошлого и настоящего: и Гегеля, и П. Рикёра читать стоит; он обязан знакомиться с нынешними теориями социологов и экономистов, разбираясь с социальными структурами и институтами обществ прошлого. Даже наработки генетиков могут оказаться бесполезными (хотя вступать в секту поклонников какой-нибудь гаплогруппы совсем не обязательно). Однако все это не дает нам тотальной науки — об этих притязаниях можно забыть. Да и о какой тотальности может идти речь, если вид *homo sapiens* существует примерно 100 — 150 тыс. лет, а границей истории по-прежнему остаются бесписьменные общества? Гадательные суждения относительно племен, которым принадлежали глиняные черепки, конечно, имеют свою цену (даже если иной раз порождают химеры, вроде «скифов-пахарей»).

Если историю от прочих наук отличает не предмет (все социальные науки обращены на него) и не метод (понимание, интерпретация мотивов и мыслей важны для всех изучающих человеческую реальность), то что же является специфичным для историков? Это не нарративность: социолог, психотерапевт и этнограф также рассказывают о полученных ими результатах исследований. Таковым не может быть и внимание к процессам, возникновению и развитию во времени, поскольку экономические циклы, демографические изменения, конфликты социальных групп протекают во времени.

Мы возвращаемся тем самым к историзму, который является основным принципом историографии как таковой, но обретает теоретическое воплощение в трудах представителей *Historismus* как интеллектуального течения европейской мысли конца XIX — начала XX вв. У истории нет монополии на герменевтику или «отнесение к ценности»: методологический дуализм безусловно принадлежит прошлому, равно как и свойственная тому времени оппозиция «духа» и «природы». Критика «романтической герменевтики» Х. Г. Гадамером обоснованна: в качестве основного метода эмпатия ведет не к проникновению в прошлое, а к его искажению. Кстати, это относится и к другим наукам о человеке: склонность подменять методологическими изысками вдумчивое проникновение в социальные и политические процессы ведет к слепоте как ученых, так и непрестанно разрастающегося племени экспертов. У истории имеется множество методов, разработанных прежде всего вспомогательными дисциплинами, но нет только ей присущего Метода.

Наследием историзма сегодня является не утверждение особого метода, но указанные выше скептицизм и реализм, понятые не как метафизические доктрины (тогда они находились бы в оппозиции друг

к другу). Скептицизм отличается от релятивизма, утверждающего, что все точки зрения равно возможны и приемлемы — *anything goes*, как говорят ныне. Исходным является стремление к научной истине, а наука неизбежно придерживается корреспондентной теории истины. То, что наши суждения об изменениях климата, неандертальцах или социальной структуре древнего Вавилона гипотетичны, не отменяет того, что мы стремимся к искомому соответствию с реальностью, *wie es eigentlich gewesen*. Критическая оценка нашего знания характерна для любой науки, для историков же свойствен скептицизм обостренный, близкий пробабилizmu не в современных его версиях (вероятностный взгляд на физические процессы), а самому раннему его варианту Аркесилая и Карнеада скептического периода платоновской Академии. Этот взгляд был характерен для ведущих представителей исторической науки XIX в. вроде Л. фон Ранке и К. Бурхардта в их полемике с Гегелем — «великие повествования» начали критиковать не со времени Ж.-Ф. Лиотара.

Но такой скептицизм уравнивается реализмом, который также имеет свои особенности. Если подбирать термин из метафизики, то можно окрестить его «гипотетическим реализмом». Уверенность в том, что мы изучаем саму природу, присуща любому ученому, но в современной науке на предмет исследования налагаются теоретические схемы, модели, теоретические конструкции. Они поверяются путем контролируемого экспериментального вмешательства, гипотеза должна быть «оправдана» (*justification*) и подтверждена наблюдением. Особенностью истории является то, что ни наблюдать, ни вмешиваться, ни контролировать опыт мы не в состоянии: у нас есть только следы, свидетельства, «улики». Историк имеет дело с требующими истолкования знаками. Реализм здесь определяется «фактичностью» в ином чем в естествознании смысле: сегодня для нее употребляется слово «контингентность». Бывшее некогда с людьми в известном смысле случайно и даже иррационально — в существовании именно такого спартанского илота, китайского даоса, созданного усилиями строителей акведука или собора нет никакого предзаданного смысла. Как и закона, согласно которому молодой граф Роккасекка сбежал из замка, стал монахом-доминиканцем, проучился у Альберта Великого, а затем прославился как автор «Суммы теологии» и умер в Тулузе. Ф. Ницше случайно покупает в лавке потрепанный том А. Шопенгауэра — без чтения «Мира как воли и представления» он не создал бы свое учение (или создал бы какое-то совсем другое). Был Константин Великий, которому однажды перед битвой привиделось *in sic signo vinces*, и он изменил империю,

в которой на тот момент не было и десятой части христиан, а тем самым и ход истории. Викинги и йомены, феодальные бароны и придворные времен Людовика XIV не служили логике всемирной истории в качестве пешек для достижения такой странной цели, как приуготовление нынешнего мира (а в особенности тех статей и диссертаций, которые мы о них пишем). Лишь задним числом мы выясняем, каковы их «классовые интересы» или «групповая динамика» — сами они осмыслили мир иначе и действовали в соответствии с такими мыслями. Если возвратиться к языку основоположников социологии, еще принимавших во внимание историю, существуют «сообщества судьбы» (Schicksalsgemeinschaften) вроде общин, гильдий, провинций и даже кружков каких-нибудь «юношей архивных», почему-то начинающих читать Шеллинга и Гегеля в Москве 1820-х гг. Вряд ли можно назвать наше обращение к ним «диалогом», поскольку они не могут прочесть нам лекцию о том, как их изучать и стоит ли переходить от «социологии ролей» к «фрейдам». История остается описательной наукой и после того, как историки научились говорить на языках статистики и когнитивных наук.

Так что формула Ранке — согласно которой каждая эпоха на свой манер соотносится с Богом, а ценность ее заключается не в том, что из нее произойдет, но именно в ее неповторимом существовании — является самым кратким определением такого реализма. Конечно, историка интересует и то, что переходит из одной эпохи в другую: как развиваются институты, нравы, идеи, ритуалы. Однако он смотрит на то, как одно прошлое перетекает в другое — а оценивать, как оно доньше воздействует на настоящее, хвалить и хулить его есть кому и без него. Он не ставит перед собой и задачи изменить настоящее, рассказывая о прошлом, пока остается историком. Именно инаковость прошлого делает его объектом созерцания и описания. Историки, хотя они сами принадлежат истории, куда менее социологов склонны заниматься рефлексией по поводу того, что взгляд ученого детерминирован принадлежностью к какой-то социальной группе, вроде WASP или «белого представителя среднего класса». «Классики» социологии — Вебер и Дюркгейм, Теннис и Зиммель — такого сорта идеологическим самокопанием не занимались и считали общества прошлого реально существовавшими; вероятно, потому, что их исследования опирались на огромный исторический материал, они и доньше интересны для историков, тогда как последующий конструктивизм в социологической теории к историческим штудиям не

прививается⁸. Если мы имеем дело с иным, то оно конституируется как независимый от нас объект созерцания и описания. «Оптика» историографии такова, что фиксирует общности, игнорируемые социальными науками. Например, для социологии такая общность, как «народ», чаще всего незаметна, а экономисты, говорящие доньше о «народном хозяйстве», эту реальность вообще игнорируют, равно как реальность «храмового хозяйства» в Шумере или средневековой гильдии. Историк изначально видит сообщества (*Gemeinschaften*) и лишь затем применяет методы, разработанные для видения *Gesellschaften*. Тем самым мы возвращаемся к историзму в его самом раннем воплощении в ткань научных исследований. Как ни странно, реализм историографии опирается на романтизм с его «индивидуальными тотальностями». Для постижения этих некогда бывших, но унесенных ветрами времени людей и форм их сосуществования приемлемы и даже иной раз необходимы формулы и открытия куда более строгих, чем история, дисциплин. Но все эти формулы служат цели понимания иных, нежели наши собственные, обществ и культур. История является, наверное, самой «а-теоретичной» наукой, если только не вспомнить о том, что исходно «теория» означала созерцание. Даже если не принимать учение Гегеля об абсолютном духе, он писал о таком созерцании последовательного ряда, «в котором один дух сменялся другим и каждый перенимал царство мира от предыдущего» (Гегель, Столшнер, Шпет и др., 1959: 434). Гегель называл эти духи «гештальтами», толкуемыми как проявления сознания и самосознания.

Если выйти за пределы идеалистической «философии духа», то мы обнаруживаем меняющиеся формы взаимодействия. Индивиды всегда включены в те или иные из них; «человек вообще» является абстракцией, удобной для конституций и деклараций прав, но вряд ли пригодной для историка. Одни формы чрезвычайно стабильны: возникнув в неолите, земледелие мало изменялось тысячелетиями, равно как формы семьи, религиозных обрядов и т. п. Другие, куда более связанные с творческими усилиями индивидов, приходят на короткое время. Поэтому одни историки сосредотачивают свое внимание на долговременных процессах, перенимают языки экономики, географии и даже геологии

⁸Эта утрата исторического измерения социологической теории произошла достаточно давно. Как писал в конце 1960-х гг. Н. Элиас, произошла утрата видения долговременных процессов, каковой были наделены «классики», тогда как «социальные системы» послевоенной социологии таким видением уже не обладали. См. его предисловие 1968 г. к работе «О процессе цивилизации» (Элиас, Руткевич, 2001: 19–29).

(например, Бродель), тогда как другие остаются верными романтической герменевтике, имея дело с великими личностями или группами вроде поэтов и мыслителей (Sturm und Drang в Германии, Серебряный век в России). Различаются и их теоретизирования: в «клиометрии» индивиды почти взаимозаменяемы, тогда как для других подходов в исторической науке сословия и народы обретают личностные черты. Например, у Карсавина личности более широкого объема «стягивают» личности более узкого, но репрезентируются через них: ремесленника мы отличаем от купца или дворянина, русского от немца, но сословие и народ всегда опознается нами по отдельному представителю.

Другими словами, мы имеем континуум подходов и отвечающих им методов. В любом случае историк имеет дело с социальными существами, вступающими в связи, которые образуют долговременные или кратковременные структуры. Основанием всей работы историка по-прежнему остаются поиск, отбор, интерпретация и систематизация источников. Взгляд историка иначе «вырезает» объекты исследования, иначе их располагает и изучает. Его труд нередко сравнивали с деятельностью следователя: он идет по оставленным следам, чтобы найти «преступника», т. е. того, кто замысливал и совершал действие. Хотя к диахронии обращаются все науки о человеке, для историка — даже если он в рамках своей «микроистории» обращается к кратковременной сцене — исходным пунктом и целью постижения являются происходящие во времени изменения, потоки, напоминающие длительность Бергсона. Одни события порождают другие и меняют контекст взаимодействия. Поскольку не все они оставляют следы, то промежуточные этапы неизбежно домысливаются; у действий, словами Коллингвуда, есть «внутренняя сторона» (чувства и мысли людей), а потому нужно научиться мыслить и чувствовать так, как это делали древнеегипетский жрец или спартанский гоплит. Поэтому эрудиция для историка по-прежнему важнее методологической «оснастки». Чем шире горизонт видения прошлого разных эпох и культур, тем выше культура исторического мышления, тогда как трата времени на нейроэкономику или какую-нибудь «меметику» избыточна хотя бы потому, что на место этих модных доктрин завтра придут другие.

Если сравнить мир — вслед за Шекспиром — с театральной сценой, то историк видит на ней действие с непрестанно сменяющимися актерами, речи и дела которых меняют и сценарий, и жанр, и правила игры. Конечно, игра на бирже не превращается в игру в шахматы: и закованные в латы рыцари, и вооруженные пиками и аркебузами легионеры из испанских

tercios, и артиллеристы Наполеона были заняты войной. Создатели пирамид, собора Нотр-Дам и небоскребов в Нью-Йорке 1920-х гг. равным образом были строителями. Тем не менее контекст этой деятельности был разным и порождал разные последствия, иные формы отношений. Одни игроки сменяются другими да еще и изменяются по ходу действия, преображая тем самым «интригу». Трагедия оборачивается фарсом, победа — поражением, накопление — растратой или расхищением; прежние правила могут «обнулиться», а новые «игроки» их не принять. К этому добавляется то, что время событий течет по-разному. Есть долговременные взаимодействия, повторяющиеся веками и даже тысячелетиями; есть «сгустившееся» время резких перемен, сопоставимое с подъемом температуры газа вместе с нагревом и ускорившимся движением молекул. Долгие эпохи люди живут в стабильном обществе, даже создают богословские и правовые доктрины, утверждающие, что целостности — будь таковой Римская империя, католическая церковь или даже цех гончаров — не умирают вместе с уходом из мира одних своих членов, сменяемых другими — *Universitas non moritur*. Однако сами эти верования способствуют появлению того, что их отменит.

Социальные науки в таком случае играют роль полезных инструментов, выбор которых зависит от рассматриваемого «гештальта». Они созданы в наше время и нацелены на сегодняшние формы взаимодействия, на коммуникацию в наблюдаемой действительности. Историка интересует скорее передача, трансляция форм. Иные из них притязают на универсальность, но именно они сомнительны для историка. Марксистская теория классовой борьбы применима к движению чартистов 1840-х гг., но далеко не все даже близкие по времени массовые выступления низов описываются в терминах этой теории. Скажем, бунт 1780-го г., который едва не снес британскую монархию (*Gordon Riots*, был восстанием протестантов, разгневанных тем, что католикам хотя бы отчасти вернули гражданские права. Восстание «желтых повязок» под конец империи Хань, конечно, было связано с недовольством крестьян, но стремление поменять «Синее небо» на «Желтое небо» вряд ли удовлетворительно описывается понятийным аппаратом «Коммунистического манифеста». Теории Бурдьё о «символическом капитале» и «социальных дистинкциях» хороши для понимания французской городской буржуазии второй половины XX в., но они вряд ли подходят к дворянским элитам времен борьбы Генриха IV и католической Лиги. Неприменимость даже к сравнительно недавнему прошлому нынешних

экономических и психологических теорий не раз обнаруживалась историками. В лучшем случае все эти науки дают схемы, направления для мысли историка, в худшем — они ему просто мешают.

Сохраняет свое значение и другая интуиция романтиков: прошлое с его возможностями не «снято» окончательно. Бывает, что «духи прошлого» возвращаются — мы это видим сегодня в момент кризиса «глобализации»; иной раз интуиция подсказывает появление новых «духов» («призрак ходит по Европе»). Развитое историческое мышление способствует такого рода предвидению, поскольку для него нет вечных социальных установлений. Но областью его трудов является последовательность уже ушедших «гештальтов».

ЛИТЕРАТУРА

- Берковский Н. Я.* Романтизм в Германии. — СПб. : Азбука-классика, 2001.
- Берлин И.* Понятие научной истории // Подлинная цель познания / пер. с англ. В. В. Сапова. — М. : Канон+, 2002. — С. 25–80.
- Вебер М.* Избранные произведения / пер. с нем. Ю. Н. Давыдова. — М. : Прогресс, 1990.
- Вебер М.* История хозяйства. Город / пер. с нем. Д. Б. Гервса. — М. : КАНОН-пресс-Ц, 2001.
- Винчи Л. да.* Суждения о науке и искусстве / под ред. А. К. Дживелегова ; пер. с итал. А. А. Губера, В. П. Зубова. — СПб. : Азбука-классика, 1998.
- Вригт Г. фон.* Объяснение и понимание / пер. с англ. Е. И. Тарусиной // . — 1986. — С. 35–242.
- Гегель Г. В. Ф.* Сочинения. В 14 т. Т. 4. Феноменология духа / пер. с нем. Б. Г. Столшнера, Г. Г. Шпета, А. М. Водена. — М. : Политиздат, 1959.
- Гириц К.* Антология исследований культуры : интерпретация культуры. «Насыщенное описание» : в поисках интерпретативной теории культуры / под ред. С. Я. Левит ; пер. с англ. Е. М. Лазаревой. — СПб. : Университетская книга, 1997.
- Джеймс У.* Введение в философию // Введение в философию. Проблемы философии / У. Джеймс, Б. Рассел ; пер. с англ., под ред. А. Грязнова. — М. : Республика, 2002. — С. 7–154.
- Зомбарт В.* Собрание сочинений. В 3 т. Т. 1. Буржуа : к истории духовного развития современного экономического человека / пер. с нем. З. Ал. — СПб. : Владимир Даль, 2005.
- Йегер В.* Пайдейя. Воспитание античного грека. В 2 т. Т. 1 / пер. с нем. А. И. Любжина. — М. : Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2001.
- Карсавин Л. П.* Философия истории. — СПб. : Комплект, 1993.

- Кассирер Э.* Логика наук о культуре / пер. с нем. Б. Вимера, С. О. Кузнецова // Избранное. Опыт о человеке / пер. с нем. Б. Вимера, С. О. Кузнецова, А. Н. Малинкина. — М. : Гардарика, 1998а. — С. 7–154.
- Кассирер Э.* Опыт о человеке. Введение в философию человеческой культуры / пер. с нем. Б. Вимера, С. О. Кузнецова // Избранное. Опыт о человеке / пер. с нем. Б. Вимера, С. О. Кузнецова, А. Н. Малинкина. — М. : Гардарика, 1998b. — С. 440–723.
- Кьеркегор С.* Заключительное ненаучное послесловие к «Философским крохам» / под ред. Т. Н. Песковой ; пер. с дат. Н. Исаевой, С. Исаева. — СПб. : Изд-во С.-Петербур. ун-та., 2005.
- Ланглуа Ш.-В., Сеньобос Ш.* Введение в изучение истории / пер. с фр. А. Серебряковой. — М. : ГПИБ России, 2004.
- Лопатин Л. М.* Декарт как основатель нового философского и научного миро-созерцания // Философские характеристики и речи / под ред. В. В. Рубцова, А. Д. Червякова. — М. : Харвест, 2000. — С. 17–38.
- Оукиот М.* Деятельность историка / пер. с англ. Ю. А. Никифорова // Рационализм в политике / под ред. Л. Б. Макеевой, А. Б. Толстова, М. Ф. Косиловой ; пер. с англ. И. И. Мюрберг, Е. В. Косиловой, Ю. А. Никифорова. — М. : Идея-Пресс, 2002. — С. 128–152.
- Патнэм Х.* Разум, истина и история / пер. с англ. Т. А. Дмитриевой, М. В. Лебедевой. — М. : Практикс, 2002.
- Пикетти Т.* Капитал в XXI веке / пер. с фр. А. Дунаева. — М. : Ad Marginem, 2015.
- Тош Д.* Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка / под ред. В. А. Русева ; пер. с англ. М. Л. Коробочкина. — М. : Весь мир, 2000.
- Уинч П.* Идея социальной науки и ее отношение к философии / пер. с англ. М. Горбачева, Т. Дмитриева. — М. : Русское феноменологическое общество, 1996.
- Хабермас Ю.* Познание и интерес // Техника и наука как идеология / пер. с нем. О. В. Кильдюшова. — М. : Практикс, 1986. — С. 167–191.
- Элиас Н.* Социогенетические и психогенетические исследования / пер. с нем. А. М. Руткевича // О процессе цивилизации. В 2 т. Т. 1. — СПб. : Университетская книга, 2001.
- Юнгер Ф.* Ницше / пер. с нем. А. В. Михайловского. — М. : Практикс, 2001.
- Albert H.* Kritische Vernunft und menschliche Praxis. — Stuttgart : Reclam, 1977.
- Bourdé G., Martin H.* Les écoles historiques. — Paris : Seuil, 1983.
- Braudel F.* Écrits sur l'histoire. — Paris : Flammarion, 1969.
- Bultmann R.* Jesus Christus und die Mythologie. — Hamburg : Furche Vlg, 1964.
- Carr E. H.* What is History? — Harmondsworth : Penguin, 1964.
- Dilthey W.* Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften. — Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1981.
- Menendez P. R.* Antologia de prosistas españoles. — Madrid : Espasa-Calpe, 1978.

Rutkevich, A. M. 2020. "Naslediye istorizma [The Inheritance of Historicism]" [in Russian]. *Filosofiya. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki [Philosophy. Journal of the Higher School of Economics]* 4 (3), 36–70.

ALEKSEY RUTKEVICH

DOCTOR OF LETTERS IN PHILOSOPHY, PROFESSOR

NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS (MOSCOW, RUSSIA);

ORCID: 0000-0003-2845-7830

THE INHERITANCE OF HISTORICISM

Submitted: June 15, 2020. Reviewed: July 18, 2020. Accepted: Sept. 13, 2020.

Abstract: Historicism is a term, used today in two main senses: a feature or principle of historical consciousness and an intellectual movement of the 19th century, depending mainly on German romanticism and developing an Historik with the clear differentiation of methods of natural sciences and historical (or cultural) sciences. This opposition was negated by the development of historical science. Social history uses a lot of methods of other social sciences. The idea of "total history" represents the epistemological aim of historians. But history is a descriptive and interpretative discipline, which uses all this methods without losing the specific outlook or way of thinking, which was created by the historicism.

Keywords: Historicism, Romanticism, Method, Social Sciences, Total History, Realism, Skepticism.

DOI: 10.17323/2587-8719-2020-3-36-70.

REFERENCES

- Albert, H. 1977. *Kritische Vernunft und menschliche Praxis* [in German]. Stuttgart: Reclam.
- Berkovskiy, N. Ya. 2001. *Romantizm v Germanii [Romanticism in Germany]* [in Russian]. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg]: Azbuka-klassika.
- Berlin, I. 2002. "Ponyatiye nauchnoy istorii [The Concept of Scientific History]" [in Russian]. In *Podlinnaya tsel' poznaniya [The True Goal of Knowledge]*, trans. from the English by V. V. Sapov, 25–80. Moskva [Moscow]: Kanon+.
- Bourdé, G., and H. Martin. 1983. *Les écoles historiques* [in French]. Paris: Seuil.
- Braudel, F. 1969. *Écrits sur l'histoire* [in French]. Paris: Flammarion.
- Bultmann, R. 1964. *Jesus Christus und die Mythologie* [in German]. Hamburg: Furche Vlg.
- Carr, E. H. 1964. *What is History?*. Harmondsworth: Penguin.
- Cassirer, E. 1998a. "Logika nauk o kul'ture [Zur Logik der Kulturwissenschaften]" [in Russian]. In Cassirer 1998, 7–154.
- . 1998b. "Opyt o cheloveke. Vvedeniye v filosofiyu chelovecheskoy kul'tury [Versuch über den Menschen. Einführung in eine Philosophie der Kultur]" [in Russian]. In Cassirer 1998, 440–723.
- Dilthey, W. 1981. *Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften* [in German]. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Elias, N. 2001. *Sotsiogeneticheskiye i psikhogeneticheskiye issledovaniya [Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen: Wandlungen des Verhaltens in den westlichen Oberschichten des Abendlandes]* [in Russian]. Vol. 1 of *O protsesse tsivilizatsii [Über den Prozeß der Zivilisation]*, trans. from the German by A. M. Rutkevich. 2 vols. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg]: Universitet-skaya kniga.

- Geertz, C. 1997. "Nasyshchennoye opisaniye" ["Rich Description"]: v poiskakh interpretativnoy teorii kul'tury [In Search of an Interpretive Theory of Culture] [in Russian]. In *Antologiya issledovaniy kul'tury [Anthology of Cultural Studies] : interpretatsiya kul'tury [Interpretation of Culture]*, ed. by S. Ya. Levit, trans. from the English by Ye. M. Lazareva. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg]: Universitet-skaya kniga.
- Habermas, J.. 1986. "Poznaniye i interes [Erkenntnis und Interesse]" [in Russian]. In *Tekhnika i nauka kak ideologiya [Technik und Wissenschaft als "Ideologic"]*, trans. from the German by O. V. Kil'dyushov, 167–191. Moskva [Moscow]: Praksis.
- Hegel, G. W. F. 1959. *Fenomenologiya dukha [Phänomenologie des Geistes]* [in Russian]. Vol. 4 of *Sochineniya [Works]*, trans. from the German by B. G. Stolpner, G. G. Shpet, and A. M. Voden. 14 vols. Moskva [Moscow]: Politizdat.
- Jäger, W. 2001. [in Russian]. Vol. 1 of *Paydeyya. Vospitaniye antichnogo greka [Paideia. Die Formung des griechischen Menschen]*, trans. from the German by A. I. Lyubzhin. 2 vols. Moskva [Moscow]: Greko-latinskiy kabinet Yu. A. Shichalina.
- James, W. 2002. "Vvedeniye v filosofiyu [Introduction to Philosophy]" [in Russian]. In *Vvedeniye v filosofiyu. Problemy filosofii [Introduction to Philosophy. Problems of Philosophy]*, by W. James and B. Russell, ed. and trans. from the English by A. Gryznov, 7–154. Moskva [Moscow]: Respublika.
- Jünger, F. 2001. *Nitsشه [Nietzsche]* [in Russian]. Trans. from the German by A. V. Mikhaylovskiy. Moskva [Moscow]: Praksis.
- Karsavin, L. P. 1993. *Filosofiya istorii [Philosophy of History]* [in Russian]. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg]: Komplekt.
- Kierkegaard, S. 2005. *Zaklyuchitel'noye nenauchnoye poslesloviye k "Filosofskim krokham" [Afsluttende videnskabelig Efterskrift til de filosofiske Smuler]* [in Russian]. Ed. by T. N. Peskova. Trans. from the Danish by N. Isayeva and S. Isayev. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg]: Izd-vo S.-Peterb. un-ta.
- Langlois, Ch.-V., and Ch. Seignobos. 2004. *Vvedeniye v izucheniye istorii [Introduction aux études historiques]* [in Russian]. Trans. from the French by A. Serebryakova. Moskva [Moscow]: GPIB Rossii.
- Lopatin, L. M. 2000. "Dekart kak osnovatel' novogo filosofskogo i nauchnogo mirosozertsaniya [Descartes as the Founder of a new Philosophical and Scientific Worldview]" [in Russian]. In *Filosofskiye kharakteristiki i rechi [Philosophical Characteristics and Speeches]*, ed. by V. V. Rubtsov and A. D. Chervyakov, 17–38. Moskva [Moscow]: Kharvest.
- Menendez, P. R. 1978. *Antologia de prosistas españoles* [in Spanish]. Madrid: Espasa-Calpe.
- Oakeshott, M. 2002. "Deyatel'nost' istorika [Activities of the Historian]" [in Russian]. In *Ratsionalizm v politike [Rationalism in Politics and Other Essays]*, ed. by L. B. Makeyeva, A. B. Tolstov, and M. F. Kosilova, trans. from the English by Yu. A. Nikiforov, 128–152. Moskva [Moscow]: Ideya-Press.
- Piketty, Th. 2015. *Kapital v XXI veke [Le Capital au XXIe siecle]* [in Russian]. Trans. from the French by A. Dunayev. Moskva [Moscow]: Ad Marginem.
- Putnam, H. 2002. *Razum, istina i istoriya [Reason, Truth, and History]* [in Russian]. Trans. from the English by T. A. Dmitriyeva and M. V. Lebedeva. Moskva [Moscow]: Praksis.
- Sombart, W. 2005. *Burzhua [Der Bourgeois]: k istorii dukhovnogo razvitiya sovremenno-go ekonomicheskogo cheloveka [zur Geistesgeschichte des modernen Wirtschaftsmenschen]* [in Russian]. Vol. 1 of *Sobraniye sochineniy [Collected works]*, trans. from the German by Z. Al. 3 vols. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg]: Vladimir Dal'.
- Tosh, J. 2000. *Stremeniye k istine. Kak ovladet' masterstvom istorika [The Pursuit of History. Aims, Methods and new Directions in the Study of Modern History]* [in

- Russian]. Ed. by V. A. Rusev. Trans. from the English by M. L. Korobochkin. Moskva [Moscow]: Ves' mir.
- Vinci, L. da. 1998. *Suzhdeniya o nauke i iskusstve [Judgements on Science and Art]* [in Russian]. Ed. by A. K. Dzhivelegov. Trans. from the Italian by A. A. Guber and V. P. Zubov. Sankt-Peterburg [Saint Petersburg]: Azbuka-klassika.
- Weber, M. 1990. *Izbrannyye proizvedeniya [Selected Works]* [in Russian]. Trans. from the German by Yu. N. Davydov. Moskva [Moscow]: Progress.
- . 2001. *Istoriya khozyaystva. Gorod [History of the Economy. City]* [in Russian]. Trans. from the German by D. B. Gervs. Moskva [Moscow]: KANON-press-Ts.
- Winch, P. 1996. *Ideya sotsial'noy nauki i yeye otnosheniye k filosofii [The Idea of a Social Science and its Relation to Philosophy]* [in Russian]. Trans. from the English by M. Gorbachev and T. Dmitriyev. Moskva [Moscow]: Russkoye fenomenologicheskoye obshchestvo.
- Wright, G. H. von. 1986. "Ob'yasneniye i ponimaniye [Explanation and Understanding]" [in Russian], trans. from the English by Ye. I. Tarusina, 35–242.